****

**МЕЛИСАНДА. ПОПЫТКА ОДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ**

Посвящено Н.

**l**

Икогда я увидел ее в первый раз, она стояла у самого обрыва, облокотившись обеими руками - тонкие и бледные как лезвия дамасских клинков - об металлические поручни, сбегающие извилистой змейкой вниз, опутанные рыжими, словно шерсть, выцветшими побегами лозняка, сливающимися в одно целое с ее собственными волосами, украшенными полинялой кепочкой. Как Мелисанда,- подумал еще я,- как Мелисанда и Голо. Или нет - Пеллеас, а, может, и Пеллеас в обличии Мелисанды, то есть, тьфу ты, разумеется, Голо. Или даже так: Голо в обличии Пеллеаса, любующийся девой на гребне... Голо, Пеллеас, Мелисанда... все наоборот, как отражения в нижней воде, готовые разбиться от легкой ряби в воде бассейна, облицованного мраморной плиткой с золотыми рыбками красноватого оттенка меди и без дна. Любование Голо льющимися откуда-то сверху длинными побегами рыжих волос (собственно волосы и их продолжение в побегах лозняка). Природа. Пеллеаголосанда и древний мудрец Аркель, увенчанный сединами лет, Аркель, чей замок, грустный и мрачный, прекрасный в своей отрешенности, огромный бездонный колодец (если лежишь солнечным днем на траве, окунувшись лицом в небо и зажмурив глаза) в этом чудесном парке в самом центре визжащего тормозами города с прелестной (пока еще издали, ведь вблизи какая-нибудь досадная мелочь наподобие гнойного прыща на подбородке может испортить все впечатление) девушкой на выступе искусственного грота.

**l l**

Тени и миражи, наполняющие пространство, являются нам из ниоткуда, можно сказать, изнутри нас самих (прочитанная промежду прочим книжица, второсортный фильм, на которые поначалу не обращаешь и толики внимания, всплывают вдруг неузнанными образами перед глазами в самый нежданный момент) тос­кливым отражением камней Аркелева замка и все это, вдобавок, в густом тумане. Нечто подобное принято называть сновидениями, но есть существенная разница. Ведь в сущности, само по себе сновидение является лишь тем, чем мнит се­бя допробуждения наша собственная память, а то, что составляло его истинную суть, улетучивается с наступлением очередного утра, оставляя после себя не­узнаваемые руины, воспринимаемые нашим сознанием чем-то наподобие дивного замка (не всяким сознанием). Другими словами, замок Аркеля есть не что иное, как обломки скалы после землетрясения, замок, некогда вычитанный и перемещенный в область, того, что мистики и народ называют сердцем. Все это в будущем - всего лишь серый песок с мелкими затвердевшими останками прежнего величия (камешки и обработанные ветрами валуны), серый песок времени, похоронивший печаль Аркелева замка и грусть Голо и ревность Пеллеаса иярость Мелисанды, разъяренной сексуальной тигрицы в обличии тонкого женского образа. И...

**l l l**

Когда мысль непонятна, она выигрывает в обворожительности - загадка, тайна. Иными словами, соблазн, от которого не так-то просто уклониться, даже если уверен в его пагубности. Неодолимое препятствие ясному рассудку. Точно также обстоит дело и с глазами, недаром же говорят о них, как о зерцале души, штуки, впрочем, не менее загадочной, чем сама мысль. Прошу Вас, не надо ничьих ухмылок. Предмет, затронутый здесь вовсе не так серьезен, чтобы поз­волять себе ухмылки. Более того, во мне растет подозрение, что он и вовсе несерьезен.

Душа и мысль, глаза и мозги - что можно выискать серьезного в предметах, коим мы сами в состоянии подобрать имя? 0т созерцания к абстрактному мышлению - кому первому пришла на ум эта трудновыговариваемая абракадабра, мертвая схема, лишенная дыхания любви и жизни? Впрочем, к чертям весь этот вздор, когда все дело-то в паре глаз, встретившихся друг с другом в то утро на развилке сказочного Аркелева парка **-** истонченная,бледная до прозра­чности костей хрупкая Мелисанда и Голо (или, может, Пеллеас?). Огненно-рыжие против черных, как воронье крыло, волос, и грусть и ревность во взгляде каре-голу­бых глаз Голо-Пеллеаса. В то утро на аллее центрального парка... В то субботнее утро.

**IV**

Полосатая рыжая кошка, словно сошедшая с китайской картинки, пересекает не спеша дорогу. "Смотрите-ка,- говорит Мелисанда, и исчезающие контуры ее губ выдавливают подобие улыбки,- кажется, у нее мышь в зубах. Улыбка прозрачней всяких слов. "Похожа на леопарда,- неудачно пошутил я, и она все равно рассмеялась - и в ее звонком смехе шевельнулась все та же непонятно полосатая тварь с шелковистой шкуркой наружу. Возможно, оттого, что этой тварью была сама Мелисанда, или тварь была ею - как знать? Да и не все ли равно, если идешь бок о бок с Мелисандой, Мелисандой с огненно-рыжими волосами и вовсе не такой хрупкой, какой она кажется над обрывом у поручней, увитых ссохшимся лозняком?

- Ну да,- сказал я. Мы шли по тропе вслед за спугнутым зверем, удаляясь вглубь Аркелевского парка. Хотя нет - мы просто шли себе по узеньким улочкам ставшего вдруг незнакомым родного города в то самое заколдованное время суток, когда сумерки играют оттенками цвета, меняя их ежесекундно до тех пор, пока не зажгутся фонари и улица погрузится в волшебный мир расцвеченных рекламных щитов, угнетающих своим разнообразием. Мы шли по треснутому асфальту, пылающему остатками дневного зноя улиц и не было в том никакой разницы - солнце, оно всюду греет одинаково: что в лабиринте каменных строений, что у руин Аркелева замка - важно лишь, чтобы было соответствующее настроение. Мы шли. И в какой-то момент свернули в переулок.

Камушек катится вниз с обрыва, оставляя за собой петляющий след потревоженной пыли. Кажется, мы были вдвоем в том самом гротике, уютном гротике под утесом. Тогда мы не задумывались над вопросом, что же это все-таки было. Воз­можно, ее, а, может, и моя пустующая в то время квартирка, опоясанная полумраком задернутых штор. А, может, и вообще ничья - просто номер в провинциальной гостинице, беседка в заброшенном парке у

озера - да мало ли что, над чем тог­да не задумывались и вовсе: мир лежал у наших ног, и мы брали все, что каза­лось нам необходимым, чуть ли не обыденным (правда, и надо нам было самую малость, в принципе хватало уже одного лишь уединения, а его то как раз и бы­ло в избытке; сейчас - времена иные, возможно изменилось время, а, может, и мы сами или и то и другое). Так или иначе, но тогда, в уютном и затемненном гроте Аркелева парка в многозначительно таинственном полумраке, пахнущем аро­матом ее рыжих волос и еще чем- то щемительно-сладким, пульсировало то самое оно, сжавшее нас клещами страстей и растворившее их вместе с нами внутри се­бя. Почему-то в память о том времени врезались крики сов (откуда им взяться - вот вопрос, который не оставляет меня в покое) как и многое другое; к примеру, круглый с форточку диск луны в оконном проеме и в то же самое время непонят­но каким чудом внутри ее и моего сердец, или тот самый скатывающийся с обрыва камешек - ведь я не могу не сознавать того факта, что на сегодняшний день все это не что иное, как образы, хранящиеся в моей памяти, а, значит, может оказаться ни­чем иным как игрой воображения, тем более сейчас, на склоне моих лет. В памяти, одним словом, той самой памяти, в которой не сохранилось ни одной четкой детали, кроме, может, ее рыжих волос и лица, которое видится мне как бы сквозь призму. Но и в этой малости меня одолевают серьезные сомнения.

Потом, когда оно уходило, точнее, исчезало, причем, как правило, внезапно, мы оказывались один на один с потолком или небом, наглухо затянутым пеленой свинцовых туч, лежа на спине головой куда-то вверх до тех пор, пока глаза одного не становились небесами другого, что означало, что оно вернулось к нам сно­ва, принося с собой аромат скошенных скирд сена - именно так пахли ее подмыш­ки, опрысканные каким-то особенным (для нас в ту пору - ныне выбор гораздо разнообразней) дезодорантом. Причем, я в этом уверен, аромат сена, скошенного имен­но вручную, как в древности, что не удивительно - ведь с другой стороны, мы и сами как бы пребывали во временах древних, во времени Аркеля и Голо, Мелисанды и Пеллеаса. Я понимаю, что все, о чем я сейчас пишу, напоминает сплошной сумбур и хаос, но именно так все это и сохранилось во мне до сего времени и пы­таться как-то упорядочить весь этот хаос, означало бы грешить против истины, что мне лично было бы больно.

Время текло, останавливалось и восстанавливалось заново и снова текло, возвращаясь постоянно на круги своя, и неоднократно восходило солнце в каждом из нас (когда глаза небесами другого) над тысячелетней заброшенностью Аркелева грота. Король умирал и воскресал заново, и так было постоянно, каза­лось, этому не будет конца и, тем не менее, не надоедало и не приедалось. Но Мелисанда оставалась Мелисандой, а вот с Пеллеасом то и дело происходило не­что неладное - он то превращался в Голо, то возвращался в себя снова, пока не запутался окончательно в том, кто он таков на самом деле - то ли Голо, превра­щающийся в Пеллеаса, то-ли Пеллеас, возвратившийся в Голо. Сама Мелисанда, кажется, обо всем этом не догадывалась. Итак, все вращалось вокруг Мелисанды (очем она также не имела понятия) и каждый раз все так же, как и прежде, восхо­дило солнце, обжигая испепеляющим жаром разгоряченные тела и вечную (квазивечную, поправил бы я сейчас) юность. Король умирал и да здравствовал Король! Послушай,- говорила мне Мелисанда,- а не попробовать ли нам еще и ...

А потом все долго кончалось, кончалось, кончалось, пока не сгорало дотла. Ни о чем не сговариваясь, мы расходились каждый в свою сторону прочь от Аркелева грота, расходились с тем, чтобы соединиться в свое время и в нужном месте заново - зная об этом, мы не тратили лишних слов на прощанье - в то богатое время место для встреч находилось всегда. В сущности, оно ос­тавалось все тем же - в глубине Аркелева замка у прохладного бассейна с красными рыбками, просто видоизменялись внешние формы (от провонявшей бара­ниной шашлычной грека эмигранта с подкосившимися деревянными подпорками до фойе кинозала «Насьональ», в котором в изобилии подавалось пиво). Время, спросите Вы, какое еще время? Тогда оно было сплошным и целиком лежало в по­лусогнутых ладонях наших рук, менялось разве что освещение и, в зависимости от него, длина отбрасываемых на сцену теней. Так оно и кончалось тогда, кон­чалось, чтобы начаться в нужное время и в нужном месте, для того чтобы по­том кончиться таким же образом и е.т.р., е.т.р., е.т.р ...

**V**

А город вне нас шумел своим XX веком, шумел, переливаясь под солнцем разношерстными толпами, шумел, потому как город, имя которому Вавилон и шум его висел над нами повсюду, придавая чуточку загадочный смысл всему, что мог видеть глаз. Город, огромная резиновая игрушка, кукла с подведенными ресницами, ласкаемая тысячью ног и глаз ее обитателей, игрушка, которой играются все ее обитатели, кроме, может, новорожденных - у тех свои игры и соски (впро­чем, до поры до времени). Резиновая кукла и шум - иначе, что толку в городе, жители которого не играют в одну и ту же игрушку, издающую пресловутый шум, от которого и весь загадочный смысл. Город без шума - мертвый город. Время приходит и время уходит, оставляя после себя следы загадок, образующих в сво­ей совокупности то, что называется историей.

**VI**

- Глупо тревожится о будущем,- сказала Мелисанда,- это все равно, что убивать сегодня. Не могу понять до сих пор, что именно могло меня встрево­жить в этой незатейливой, в общем-то, проходной, фразе, сказанной за фужером вина в каком то винном погребке, хозяин которого был страстным поклонником Чайковского - он ставил пластинки на вращающийся диск патефона и подсажи­вался к какому-нибудь одинокому клиенту, возможно, поэтому многие предпочита­ли ходить туда не иначе, как в компании, хотя находились и любители из тех, кто предпочитает протянуть время, не облегчая при этом особо свои карманы. К вящему моему стыду, должен признаться, что и мне самому однажды, правда, по­неволе, довелось воспользоваться приватными услугами - об этом речь позже,- воспользоваться в первый и последний раз - как мне помнится, именно после это­го случая я возненавидел и белое вино и музыку Чайковского (кажется, это бы­ло па-де-де), но если отношение к вину со временем сошло на нет, то неприятие музыки этого бородатого русского сохранилось до сих пор - мне всякий раз при звуках того самого знаменитого па-де-де хочется смачно выругаться, хотя то он уж, бед­няга, ни капельки в том не повинен (как, впрочем, и я). Между прочим, старый хозяин жив вроде как до сих пор, хотя за стойкой, конечно, орудует его зять, похожий как две капли воды на своего предшественника. Впрочем, он несколько расширил репертуар и сейчас из погребка наряду с неизменным Чайковским, доносятся порой отрывки из опер Бизе и полонез Огинского. Сам же старик, как рассказы­вают мои немногие оставшиеся друзья, сидит безучастно за одиноким столиком у самой стены и всма­тривается помутневшими налитыми кровью глазами в силуэты на матовом (как в предбаннике) стекле. "Глупо тревожиться о будущем…"

**VII**

И когда оно кончалось, мы растворялись в переливающихся из одной улицы в другую толпах, все под тем же солнцем, только сам мир незаметно от нас становился иным. Иными

становились и мы в нем под тем же солнцем, что рав­но светит, что руинам Аркелева замка, что толпам в принаряженных площа­дях и переулках. Все то же, то же и только время лепит из наших лиц все но­вые маски: маску с рыжими волосами, маску трактирщика, маску ночного сторо­жа - занятый карнавал, не правда ли? Словно нас и не стало, то есть мы, коне­чно же, не исчезли, но маски подменили нас, в конце концов, собой. Только глу­хое копошение в каком- то забытом закутке памяти воспоминаний о прохладной сени ворот Аркелева замка и гнезде аиста рядом с красочным стягом с изображением дракона с разверстой пастью, из которой высовывается раздвоенный язычок… О, если хотя бы раз сорвать с себя все маски и очутиться на миг в собственном воспоминании, ощущая на себе Его грозно-леденящее дыхание ле­жа не траве лицом к бездонному небу! Но... лишь маски на солнце, маски, озабоченные собственным покоем. (Как подумаешь, что за каждой маской скрывается потерянный мир - это ли не прискорбно? И маска, идущая мне навстречу, улыба­ется во весь рот).

И странно будний заворачивается день и опять надо спешить куда то, вы­говаривать какие- то фразы в пустоту и получать оттуда в ответ уж вовсе не­что несуразное и суетиться, суетиться, суетиться, потому как будний заворачивается день, наваливающийся на тебя сотнями масок - улыбчивых, невозмутимых, смешливых, со следами слез - потрясающее многообразие, заставляющее тебя за­быть о личном. Извините, не правда ли, что Вы… А помните, как... Что дума­ете по поводу... Почему Вас... Вот что отличает маску - подчеркнутая вежли­вость, вежливость, за которой ничего не стоит.

И будничный заворачивается день. А вечером, как обычно, за кофе, сидя, в вывернутом наизнанку на улицу кафе... И это повторялось из вечера в ве­чер. Поэтому, наверное, что всем нам чего-то хотелось, хотелось отчаянно, причем неизвестно, чего именно и именно из-за этого бесплодного хотения мы не мог­ли не собираться вместе в открытом кафе, сидя за пустой - часами! - чашечкой кофе. Тем более что, как мне помнится, стояли тихие летние ближе к осени дни, и вечера были полны снующих бабочек и эффектно выставляющихся девиц. И длилосьтак изо дня в день и из вечера в вечер почти до самой середины осени. Целая вечность без Мелисанды, которая так и не позвонила ни разу, как, впрочем, и я - где уж тут найти минутку: у масок свое время, точнее, отсчет времен, и не все они лежат в одной плоскости - необходима какая-нибудь внешняя случайность. Terra Incognita, населенная взопревшими за лето телами.

**VIII**

В тот осенний уже вечер, хранящий еще в своих порах дыхание лета - конец сентября, скорее всего, а, впрочем, возможно и в начале октября - нет, точно октябрь - ведь еще неделю назад я загорал на побережье в каком-то писательском пансионате (как вчера помню) со сносной кормежкой и в невесть ка­кой компании, уж и не помню, где конкретно это происходило, но, когда - насчет этого уж точно – вот случайно вспомнил, и мне стало не по себе. Допив и рас­прощавшись, я пошел вниз по улице мимо трактирщика - отчего-то в память мою врезалось, как он стоит, переваливаясь с ноги на ногу, красочно подпирая ру­ками бока на пороге своего заведения, и препирается с очередным оборванцем (это у него в крови, все пьянчужки района знали об этом - после солидной порции нотаций, слабость старика, по слухам он кончал когда то духовную семинарию или какой-то еще философский факультатив, следовала не менее доб­рая порция дарового белого вина - не в убыток себе, конечно, все знали, что он добавляет в питье слабый раствор уксусной эссенции - как иначе ему хватало бы на закоренелых пьянчужек, не за свой же карман, в самом деле) - и дальше вниз, вниз, вниз, не имея перед собой ни малейшей цели, пошел просто так, как индийский отшельник, а в голове вертелась единственная мысль, кружившая голо­ву: все дороги ведут в Рим, все дороги ведут в Рим... Или что-то наподобие того. Потом из-за поворота выросла пустующая телефонная кабинка. Чисто ма­шинально, я очутился вдруг внутри и опустил в прорезь монету.

Я поднес трубку к уху и хотел уже было набрать номер, как на другом конце знакомый женский голос произнес: "Попросите, пожалуйста, Шпенглера. Гус­тав, это Вы?" У нее не было телефона, это я знал наверняка и, следовательно, звонить она могла только от подружки или из другого автомата, как и я. Но как она могла знать, что именно я подниму трубку на другом конце? Я точно помню, что не успел набрать никакого номера. Впрочем, чему тут удивляться, ведь соединиться мы могли только таким и никоим иным образом - исходя из характера нашего знакомства, в этом не было ничего странного, я, кажется, говорил уже, что весь мир лежал в наших ладонях (когда это удавалось, но ведь по удачам и толь­ко мы вели свой особый отсчет жизни). И все же, в первый момент мне все это показалось странным - видимо, выпитый кофе не успел еще покинуть желудок - и потому я молчал, скованный жидким ужасом. Потом умолкла и она, но через несколько секунд пришла в себя первой, и трубка сказала снова,- это добрый знак, Густав, до встречи,- и повесила трубку. - Вы долго собираетесь торчать в будке бестолку? - спросил мужчина с усами, показавшийся мне откуда то знакомым,- здесьочередь.- Извините,- пробормотал я,- кажется, я очень спешу. И помчался, сломя голову, к ближайшему публичному дому.

Разумеется, на самом деле меня никак не звали Густавом, кроме, может, одного человека, но этим-то человеком был я сам! Да и публичный дом уже с ме­сяц как закрыли на ремонт, впрочем, к моему удивлению, в одном из окон все же мерцала свеча. Наверное, рабочие,- подумал я,- пьют водку с колбасой и помидорами после рабочего дня, оправляясь от трудов праведных в поте лица своего, так, кажется? Было уже достаточно темно, но уличное освещение покамест не включили, и ужасно не хотелось возвращаться домой. "Что же ты, Густав,- с нетерпе­нием произнес вдруг все тот же насмешливый голос, и я вздрогнул,- долго прик­ажешь ждать себя?" Я обернулся и увидел в освещенном окне Мелисанду в каком-то невообразимом тюрбане a la Pharsi. Что ты тут делаешь? - удивился я,- и что это за штука на твоей голове? - А,- небрежно отмахнулась она,- разве ты никогда не видел? Это чалма, подарок одного приятеля, он только вернулся с конгрес­са исламистских фундаменталистов. Что же до того, чем я тут занимаюсь - ничем, просто снимаю комнату. Но что с тобой, ты так бледен! Кто тебя напугал, иди же скорее ко мне, миленький. Только не спотыкнись - на площадках полно строитель­ного мусора. Или хочешь, подожди, сейчас я спущу тебе веревочную лестницу.

В молчании, слетающем с крыш уснувших без хозяев домов, кажется, будто всех жителей по этой улице вдруг куда-то отселили, а сам район подлежит цели­ком затоплению - только шелест веток, схваченных местами редкими огнями ули­чных фонарей, подвешенных к небу огромными холодными светлячками и ощущение пристального чужого взгляда на затылке, холодеющем от ветра. Вся улица будто исподтишка насторожено подглядывает за тобой. Скоро ли Мелисанда? Еще минуту, потом, еще и еще. Кто измерит реально пережидаемое время в подобной обстановке? Шорох шагов подкрадывающегося полицейского и тяжелая рука властно ложится на мое плечо, рука, пахнущая никотином и бараниной. - Что ты делаешь здесь, сынок? Отвечай же, это мой участок. - Отпусти его Морис,- говорит сверху Мелисанда, - разве ты не видишь, что это всего-навсего гость, мой ночной гость? Иди-ка, про­мочи лучше горло, вот тебе на расходы! Что-то звякает в нескольких шагах от меня и мое плечо ощущает свободу. Уже через десяток другой секунд я стою в комнатке третьего этажа, оглушенный долгим и жарким поцелуем. - Не думай о нем,- влажно шепчет Мелисанда, обвивая руками шею,- это обыкновенный умалишенный, сбежавший на днях из клиники Мессербауэра, ты наверняка знаешь об этом из га­зет. Он вовсе не так опасен, как об этом трубит молва, к тому же теперь он тебя знает... Ее волосы, я чувствую их нежное касание, опаляют меня рыжим невидим­ым пламенем, но стоит лишь мне сделать шаг в предполагаемом направлении, как я в очередной раз проваливаюсь в податливую упругую темноту, наполненную ее грудным торжествующим смехом. - Почему ты погасила свечу? - кричу я ей,- ни чер­та же не видно. - А ты попробуй еще раз,- хохочет она,- только не жмурься. Какой же ты мужчина после этого!

И - безмолвное ожидание, погруженное в тонкий аромат французских духов и дешевой косметики и еще чего-то - наверняка здесь имеется и кухня, источаю­щая сладковатый запах поджаренной на растительном масле картошки. Безмолвным бдением сохраняемое, словно мираж, готовый рассыпаться от одного неосторожного звука. А, может, и не словно как мираж, а именно сам мираж и даже сдвоенный мираж двух одинаково неприкаянных душ в устрашающем по своим размерам парке Аркеля с вековыми эвкалиптами. Тех двух, что в разных уголках, но и вместе в этом чудовищном парке, заросшем эвкалиптами и боярышником (вспомни-ка: зад у сучки розой пахнет, у Пруста, кажется), том самом парке, где отдыхает спрятанное от посторонних глаз Оно. Оно, среди четырех убогих стен старого заброшенного борделя в самой сердцевине Аркелева парка, чьи аллеи множественны, а глухие закоулки полны любви и страха (сейчас самое время вспомнить конец двустишия - дурню, что по сучке чахнет). - Осторожно,- говорит Мелисанда,- здесь где-то разбитое стекло…

**IX**

Кажется, только и хватает сил на то, чтобы разлечься, вытянув до упора ноги, на застеленную кровать и предаться подкравшейся из засады сонливости. Сон, сон, всеобъемлющий сон бальзамом от дневных ран и обид, сон, не имеющий кон­ца, сон без сновидений. И к черту Мелисанду, теребящую тебя ласково за мочку левого уха.

Но все повторится и повторится сначала, возвращаясь на обкатанную колею. И род пришедший, чтобы уйти, и род ушедший, канувший во мрак, и сырость в туман, обласканный рыжими бликами осеннего солнца - туман, накрывший руины обожженных временем городов. Кажется, что снова вдыхаешь расправленной грудью яд жиз­ни, и тот огнем струится по твоим жилам, пока не взрывается смехом, и ты понимаешь вдруг, что все это лишь очередной мираж путника, забредшего в самый центр обезвоженной пустыни, и тогда ты неожиданно разрешаешься проклятьями в адрес Прометея, со­блазнившего человечество силой, заключенной в украденном с небес адском огне.

А когда я, как бы невзначай, поднимаю кверху глаза и вижу над собой ее лицо, полное сладострастных надежд, и знакомый аромат длинных волос отзы­вается в ноздрях щекоткой, то снова оказываюсь все на том же знакомом месте у каменного выступа рядом с Мелисандой в парке Аркеля и снова из-за кустов появляется полосатая рыжая тварь, и губы мои, полные неги шепчут: «и все таки это был леопард», а потом срывается с обрыва камешек, оставляющий за собой долго не оседающий пыльный след, и мы вновь сливаемся в Оно, и я покрываю ее глаза торопливыми судорожными поцелуями, и мир пропадает. Да,- шепчет она,- это и в самом деле леопард, моя радость, если тебе этого так хочется...

**X**

Оно, Он (парк старого Аркеля) хранит сокровенное растение с колючка­ми, уколовшись о которые невзначай, становишься несчастным навек.

- Why? - спрашивают немые глаза Мелисанды, и Голо отворачивает свое лицо. Почему? - спрашивают ясные глаза Мелисанды и Пеллеас убегает. Что озна­чает молчание Мелисанды? А поведение Пеллеаса? Торжествующую улыбку Голо, которую тот тщательно маскирует искусно разыгранной ревностью или ревность Го­ло, маскируемую улыбкой, о которой, кстати, далеко не так просто догадаться? Только рыбки с красными спинками мирно шевелят плавниками в тюрьме, которая одновременно является их Вселенной. У каждого свои

масштабы, своя резонирую­щая частота - Пеллеас, Мелисанда, Голо, пастух со стадом охраняемых овец. И только рыбки в бассейне, рыбы с красными спинками...

- Тебе кофе с молоком, отец? - спрашивает Мелисанда смачно чавкающего грузного Мориса, не удосужившегося снять с головы потрепанную жандармскую фуражку, напоминающего в ней чем-то таксиста,- Густав, ты не торопишься? Я лишь накормлю старика. И я улыбаюсь. Морис и Мелисанда тоже улыбаются. Все мы улыбаемся -  
я, отец, дочь. С добрым утром, сограждане, - приветствует репродуктор, прибитый  
к стене гвоздями,- сегодня снова понедельник..." И так каждую неделю: кофе  
с молоком, взаимные заботы, улыбки и приветствие репродуктора - чем не отличная картинка?

**X**I

- Не уходи, Густав,- просит Мелисанда и в глазах ее тревога,- не уходи, не уходи, не уходи... Она пятится к выходу, загораживая собой двери, и ее зрачки рисуют ужас. Не уходи! - кричит она и срывается вдруг вниз по лестнице: второй этаж, первый, хлопает выходная дверь. Я подбегаю к окну мимо храпящего на диване старика. Улица отчего-то полна визгами клаксонов проезжающих автомашин. Ну да, сегодня же понедельник. Она смотрит на меня снизу и снова кричит. На противоположной стороне улицы собирается любопытствующая толпа зевак, в домах распахиваются окна и в каждом из них по старухе с парой внучат. Некоторые окна, однако, остаются наглухо зашторенными - их хозяева скорей всего ещё не вернулись с моря, там сейчас, кстати, бархатный сезон в самом разгаре. He уходи! - и бросается наперерез движущемуся потоку. Звучит полицейская сирена и…

Застрявший в горле крик. Невидимый меч, меч мстительного Голо рассе­кает воздух визгом тормозов. На углу, там, где перекресток, очередь в Лило­вые Бани, в руках у каждого по оловянному номерку и корзиночка с бельем. Мелисанда уже ушла? - спрашивает проснувшийся старик и, не получив ответа, продолжает,- что же ты ждешь в таком случае? Уходи и сам.

**XII**

Воспоминания уносят меня в закоулки лабиринта из узеньких улочек города моих сновидений. Ужасный лабиринт из сплошных глинобитных домиков с глухими стенами на улицу и небольшими внутренними двориками. Дворики, видимо, сообщаются между собой таким образом, чтобы, не выходя на улицу, можно было бы попасть в любую точку квартала, отчего на улице вовсе не видать прохожих. Даже те немногие одиночки, которые нет-нет, да и появляются вдруг украдкой из парадных ворот, озираясь по сторонам, торопливо перебегают улицу и скрыва­ются в ближайшей подворотне. Все они худы и дурно, хотя и странно, одеты. Иногда по улочкам, визжа тормозами, проносятся бронированные автомобили со спущенными занавесками. Город, замкнувшийся в себе, кажется снаружи почти вымершим, но я знаю, что на деле это обстоит вовсе не так, и стоит мне хоть однажды проникнуть в один из внутренних двориков, как я стану соучастником совершенно иной жизни, иногда мне почти удается моя затея, но в самый ответственный момент, когда в ответ на мои настойчивые удары в кажущуюся наибо­лее податливой дверь, по ту сторону слышатся легкие обнадеживающие шаги, и ухо мое начинает улавливать неясный шум, похожий на возню с запорами, как я вспоминаю вдруг о рыбках с красными спинками и просыпаюсь, вспотевший, в своей одинокой постели (иногда вдвоем, иногда - в чужой).

**XIII**

Изгнанный из помещения бывшего(?) публичного дома, ставшего на ремонт, я одиноко бреду по городу, стараясь не смотреть на лица прохожих - при их виде во мне просыпаются чудовища, каждое из которых пытается вырваться наружу и учинить непоправимое бесчинство. Люди словно незримо ощущают их присутствие - не оттого ли чуть ли не каждый встречный шарахается от меня в сторону - пока я не обнаруживаю вдруг, что остался на тротуаре совершенно один, а весь людской поток движется по противоположной стороне улицы, каждый по своим де­лам. Начинает накрапывать дождь, и я покупаю билет в кассе первого попавше­гося по пути кинотеатра. Странно, но я совершенно не в состоянии припомнить, как именно я это сделал и был ли я один в очереди за билетом, или там был еще кто-то, неизвестный мне и закутанный в плащ. Клетчатый поношенный плащ, вид которого до сих пор не выходит почему-то у меня из головы.

Кинотеатр мест примерно на пятьсот кажется совершенно пустым, только местами торчат головы нескольких тесно обнявшихся парочек, в каждой из кото­рых мне чудится наемный убийца или соглядатай. Сейчас погаснет свет и…

И ничего не происходит. Свет в зале гаснет и остается только ярко освещенный пустой экран, из-за которого нечто тщетно силится прорваться в зал, но это ему никак не удается и, в конце концов, все успокаивается - молчат парочки, молчит экран, молчу и я, напряженно всматривающийся в белое освещенное полотнище 12х5 метров с бегающими фигурками, стараясь не упустить нужного мне случайного кадра.

Я покидаю зал последним. Какая-то из парочек забыла зонтик, и я на всякий случай прихватываю его с собой - может, дождь еще не кончился, а я так и не успел до конца просохнуть. Навыходе образовалась небольшая толпа, с опас­кой поглядывающая вмою сторону. Двое мужчин, один из них в форме полицейско­го сержанта, другой в штатском - отделяются от толпы и решительно направля­ются в мою сторону. Разрешите,- вежливо обращается ко мне мужчина в штатском, чем-то сильно напоминающий старика Мориса, разве что лет на двадцать по­моложе и с косым лысеющим пробором заместо копны,- взгляните на это фото. Вы знакомы с потерпевшей? Нас послал к Вам старина Морис.

На фотографии расчлененный труп совершенно незнакомой мне женщины. Руки и ноги аккуратно уложены поверх окровавленных частей туловища, на кото­ром четко сохранились следы недавнего насилия. А вот и голова,- штатский протягивает мне другую фотографию,- нам кажется, что это подделка, но старина Морис упросил нас до принятия окончательного решения обратиться к вам по поводу подобных штучек. Вы ведь фотограф?

Лучшее, что в таких случаях можно сделать, это сразу же раскланяться, перекинутся

парочкой шуток в адрес Мориса и уйти неторопливым шагом, не оглядываясь назад. Я же отчего то молчу и медленно переминаюсь с ноги на ногу. Сержант пытается незаметно подмигнуть штатскому, но, перехватив мой взгляд, смущенно улыбается. -Если Вам трудно сориентироваться сразу, можете не торопиться,- успокаивает меня штатский,- возьмите с собой копии и, если что-либо вспомните или усечете, дайте нам тогда знать,- он вырывает из блокнота листок, записав на нем какой-то номер, протягивает мне,- спросите сержанта Феллини и помните, Мелисанда ждет Вас на прежнем месте, и все что Вы видели утром - не что иное, как инсценировка. Забудьте об этом.

**XIV**

Итак, сегодня снова понедельник... Я ощущаю себя эрзац-бедуином в кишащих песками и змеями пустыне и столь же бескрайней пустотой в глазах на перекрестке забытых караванных путей с протянутой в надежде рукой. В надежде чего? Встретить караван верблюдов с арабами и коваными сундуками на шеях? Это было бы отвратительно. Бедуин от долгого и бесплодного ожидания сосредотачивается в самосозерцании и видит внутри себя маленького человеч­ка с протянутой рукой, сотканного целиком из обрывков воспоминаний и потому столь несуразного. Голого и нищего человечка, сидящего на раскаленных ры­жих песках пустыни, где уже давно не ходят нагруженные товарами караваны (проще ведь долететь самолетом) и где лишь белеют вперемешку иссохшие человеческие и верблюжьи кости и черепа, равнодушно взирающие на мир прохладной чернотой пустующих глазниц. Человечек этот полностью погружен в самосозерцание и ему грезится...

**XV**

- What`s happening? - заботливо спрашивает хозяин, разливая вино по стака­нам под бравурные звуки симфонии,- у вас нет лицо. Не продать мне Ваш зонтик?

Я молчу, глядя сквозь прищуренные веки на лампочку. Разноцветные нити тянутся по направлению лучей и обрываются в освещенной пустоте, ограниченной потолком и стенами. В глазах появляется многоточие, разбросанное по всему ви­димому пространству,- я. кажется, потерял кошелек с деньгами. Там были еще фотогра­фии...

- А, пустое, - качает головой Хозяин,- что-то я уже слышал от Мориса. Не обращай внимания, все они пустые - и деньги, и девки.

- Пустое дело,- покорно соглашаюсь я, поднимая стакан,- только и оста­ется, что сидеть в пустыне с протянутой рукой.

- Надо найти себе оазис,- назидательно советует Хозяин,- без воды трудно выжить, очень трудно. Пей!

- Ваше здоровье! — машинально отвечаю я,- к сожаленью, поздно. Я слы­шал, ожидается Великая Засуха.

- Тсс! - Хозяин испугано озирается по сторонам,- не надо так громко об этом, слишком много посетителей. Нельзя разводить панику.

- Не бойтесь. Все они глухие.

- Вам это кажется, уверяю Вас. Христос, — он нагнулся к самому моему уху,- и тот ошибался на этот счет. Впрочем, может, в те времена так оно и было. Сейчас же слышит каждое ухо, только воспринимает по-своему...

- Вы хотите сказать… о…

- Именно это и хочу сказать. Как по-Вашему, знает ли кто еще о засухе?

- Никто.

- Тогда молчите и забудьте обо всем. Не было всего этого, не было. Необ­ходимо повсеместно поддерживать авторитет Спасителя - об этом меня настоя­тельно просил сам...

впрочем, неважно, но Вы поняли о ком речь? Да, да. А вы не догадывались об этом? В ту пору он был обыкновенным бедным студентом богословского факуль­тета, но потом, после войны, его дела пошли в гору. Кто бы мог подумать! Он до сих пор вспоминает открыткой мой день рожденья...

**XVI**

Из стакана, расплескивая вино на скатерть, выпрыгивает скалящийся череп и начинает подпрыгивать в такт музыке. Снизу на меня надвигается стол сквозь противный звон бубенцов на шеях козлов отпущения, сбившихся в стадо, прина­длежащее пляшущему черепу. Козлы припадают к водопою и лижут розовыми языка­ми воды, наполовину сдобренные вином, перезвон бубенцов выдает их нетерпение и жажду - нервный, отрывистый, невпопад. Трам-та-трам-та-та-тара-тратам. Невесть откуда появляется облезлый верблюд и грустными слезящимися глазами всматривается в пустые глазницы черепа, откуда, шипя и извиваясь, медленно выползает огромная серая кобра, и я вдруг ощущаю, что я и есть тот самый изможденный одногорбый верблюд и весь этот звон бубенцов - сочиняемая в честь верблюда эпитафия… Шшшшшшшш...

- Это пройдет,- уверяет череп голосом хозяина,- пройдет, поскольку случается со всяким. Не все осознают, правда, но это вопрос из другой плоско­сти. Не в этом сейчас дело.

- Да,- говорю я, с трудом приподнимая отяжелевшую голову.

- Главное, что....

- Да!

- Точнее, в том, что...

- Да!!

- Прекрати истерику...

- Я прекратил,- кричу я,- Господи, я прекратил! Чего Вам всем еще от меня надо? Я прекратил, прекратил, прекратил...

- Ну и ладно. Пей. Не ори.

**XVII**

Зеленый оазис, окруженный белеющими костями, засыпает с краев песком. Слой за слоем - тончайшими слоями толщиной с рыжую пыльцу. Мираж или оазис, оазис или мираж - заброшенные сады Аркеля в кольце песков, распластанных барханами до самого горизонта. Пески, пески, пески и горячий обжигающий ветер с моря, поднимающий тучи пыли.

И рушится парк Аркеля, рушится прямо на моих глазах. Вместо тонкого аромата боярышника терпкий запах разлагающейся плоти опаленного солнцем мертвеца. Местами выползает из песков саксаул, обвитый ищущей его тени коб­рой. Он гнется под напором пылевой бури. И все вконец засыпает песком. Оно исчезает.

**XVIII**

- Помянем оазис,- говорю я, поднимая стакан.

- Это все сон,- добродушно смеется хозяин,- ты видел сон и это хо­рошо. Мой знакомый, па... тот, который шлет мне открытку, помните? Мой знакомый лю­бил говорить, что сны исцеляют.

- Ну и Бог с ним. За оазис.

**XIX**

Вспоминаю ее рыжие шелковистые локоны, локоны Мелисанды, вьющиеся побегами лозняка вниз с выступа вдоль проржавевших перил, ее лицо как в тумане на берегу моря ранним, ранним утром под крики чаек. Ложе в пещере тут же, поблизости - наш очаг и постель, где, свитые в гнусных объятиях, кощунствовали над прос­тыми вещами, а наутро разыгрывали из себя кающихся грешников. Я и Мелисанда, бегущая вдоль берега в какой-то немыслимой полупрозрачной, просвечивающей насквозь накидке с развевающимися на ветру волосами. И еще восходящее у нас за спиной солнце. Безупречная линия берега, безупречно гибкая спина Мелисанды. И наступает час вознесения молитв.

**XX**

- Не богохульствуй!

- Я пошел,- говорю и семеню к выходу,- не говори ни о чем Морису.

Хозяин провожает меня одурманенным взглядом и стряхивает со стола крошки. "Птичка ранняя не знает,- декламирует он заплетающимся языком, - птичка раннняяя-ааа не знает ни заботы, ни труда..."

И прямиком - в туалет.

**XXI**

Я просыпаюсь ночью от оглушительного взрыва, разорвавшегося посре­ди поглотившего меня сновидения (сны исцеляют? - черта с два, трактирщик!) В комнате - непонятно где нахожусь - страшная духота, на подоконнике свер­кают в осколках кусочки разлетевшейся вдребезги луны. Ночь и тишина. Место уцеле­вшей луны обозначено мерцающим пятном неправильной круглой формы за пеле­ной низко сбитых над улицей облаков. В стекле - пробоина от пули. Немно­го погодя отыскиваю и ее - теплый еще кусочек стали граммов на девять. Безумный визг тормозов последнего троллейбуса. Рикошетом от стальной плас­тины на потолке пуля отлетела вниз под острым углом и, изрядно погасив ярость, успокоилась на бетонном полу. Стреляли явно наобум, ведь поскольку даже я не знаю, в чьем нахожусь доме, вряд ли обо мне могли знать стреляв­шие с улицы. Тем более что, судя по всему, в доме давно никто не живет я, кажется, единственный, кого потревожил выстрел. Разглядываю ее повнимательнее. На боковой стороне две зазубрины и буквы вензелем "N.T." И в это время звенит телефон.

Звонок долгий, настойчивый, поскольку я не сразу решаюсь подойти к телефону. Однако это становится уже бессмысленным - звонящий знает, что комната не пуста и потому я немногим рискую, подняв трубку. И в тот самый мо­мент, когда я, наконец, рискнув, делаю первый шаг, я просыпаюсь, а на расстоянии вытянутой руки заливается настоящий телефон.

- Зачем ты так долго не берешь трубку? - спрашивает изнутри голос Мелисанды, - впрочем, какое мне до этого дело? Почему ты никак не угомонишься? Что тебе еще от меня нужно?

Рядом с ней, судя по звукам, какой-то новобранец насилует пианино, причем исключительно на басах. -Что это за шум? - спрашиваю я,- мне ничего не слышно,- Ты насквозь лживый человек,- говорит трубка,- и очень хорошо ты меня слышишь, не притворяйся. А что до шума - не твоя забота. Морис разучи­вает очередной марш. Ты удовлетворен?

- Но, Мелисанда...

- Мелисанда,- терпеливо подтверждает трубка,- отчего ты такой глупый? Пойми же, женщине может понравиться нарисованный смазливый рай, но долго в нем жить она не сможет. Какая я тебе Мелисанда? Бросай эти игры, в которых и сам толком не смыслишь. Впрочем, можешь оставаться в этом сколько хочешь, но меня в свои игры больше не впутывай. Вспомни, что вышло из истории… с Адамом и Евой? Но там то хоть рай был настоящим! В твоем же загоне буква­льно не за что ухватиться - сплошные чопорные стены из воздуха. Зачем ты ходил к Хозяину?

- Это не Морис,- говорю я тихо.

- Да, не Морис,- злорадствует трубка,- чего ты привязался? Морис, не Морис – тебе то что? Почему ты не можешь уйти тихо, как остальные? А если не можешь, то почему не дерешься, не берешь свое силой? Вместо этого канючишь, канючишь, канючишь как приблудный пес. Аркель! Голо! Собачьи имена. Господи, сы­щется ли на белом свете еще один

такой дурак? Впрочем, глупый вопрос, знаю. Одним словом, не надоедай мне больше и верни

зонтик в бюро находок. Ты меня по­нял? Алло, ты слышишь?..

- Откуда ты звонишь? - спрашиваю ее,- сейчас же еду.

- Не надо,- говорит она устало,- какой в том прок? Прошу тебя, избавь от комедий напоследок. Ты так ничего и не понял. Впрочем, в свое время мне бы­ло хорошо с тобой, признаюсь, очень хорошо, но это проходит, понимаешь, в чем вся штука? И все же, поверь мне, порой я вспоминаю тебя с благодарностью. Морис, он тоже о тебе помнит; на днях просил передать тебе при случае привет. Но не надо более, милый. Ныне время собирать камни и не твоя в том вина. Почему бы тебе не попробовать коллекционировать пластинки?Может, так ты сможешь вдохнуть свежий воздух в свой хиреющий замок? Желаю тебе от всего сердца удачи, ты меня слы­шишь, малыш?

- Да,- говорю я упавшим голосом,- но,может, все же попробовать еще... Она смеется. Ладно, малыш.Еще один шанс и даже не шанс вовсе. Ты, в са­мом деле, очень хочешь меня увидеть?

- Ты спрашиваешь?

- Сделаем так. Приходи завтра к перекрестку улиц... ну, то самое место, ты хорошо должен был его запомнить. Вспомнил? Ну и молодец. Приходи один и будь предельно внимателен. И ровно к шести. Желаю тебе удачи. И не ходи боль­ше к Хозяину. Это самое распоследнее дело. Для тебя, по крайней мере. Ты понял?

- Да, но...

- Тогда до завтра.

В трубке короткие гудки. За окном очередной несуразный шум, громкие го­лоса. Похоже на драку. И выстрел. Звенит разбитое стекло. Пуля хлюпается о по­толок и падает на ковер. Отчаянный визг тормозов и все стихает. Звонок.На этот раз ошиблись номером. Все в порядке, можно гасить свет.

**XXII**

Трудно объяснить, почему на следующий день, я, тем не менее, оказался в назначенное время и в указанном месте. Во время ночного разговора я понимал - Мелисанда права, точнее, не столь далека от истины в своем утверждении, что я - насквозь лживый человек, но с другой стороны поступать как-то иначе в по­добной ситуации - это ли не настоящая глупость? Ведь звонила именно она, так что же мне еще оставалось, как не ломать комедию? Хорошо еще, Гретхен в это время принимала ванну - как, скажите на милость, я бы объяснил ей, что за странные разговоры ведутся в первом часу ночи по ее, между прочим, телефону? Кстати, если и обзывать меня насквозь лживым, то не мешало и ей при этом поду­мать о собственной персоне - откуда, например, ей известен номер Гретхен и, вообще, что за наглость звонить посреди ночи незнакомому человеку? А что, если меня там вообще бы не было? Впрочем, о чем это я? 0на, конечно же, мило бы извини­лась (это она умеет!) и повесила трубку. Я вовсе не хочу тем самым сказать, что обвинение меня во лжи несправедливо - подобного рода занятиям я не судья. Но если между нами действительно всё обстоит так печально, то к чему вообще весь этот фарс? Ведь мне, по сути дела, назначено свидание, или я ошибаюсь? Причем назначено искони в духе лучших прежних традиций. Другими словами, с налетом таинственной недоговоренности. Иесли по правде, то далеко не так уж и ясно, что же в действительности невыносимей – пресловутая, как она называ­ет, игра в райский уголок или эти постоянные "кошки-мышки"? Другими словами, неизменно присутствующая в наших отношениях двусмысленность - я до сих пор ведь не знаю ни ее настоящего имени, ни - кто она на самом деле - и дешевая многозначительность, за которыми не кроется ровным счетом ничего существен­ного. Излишне и говорить, что комедия, разыгранная ею относительно новобран­ца ничто иное - как дешевая инсценировка, в чем ей, скорей всего подыграл блаженный Морис. В любом случае, если сей ново­бранец даже существует, его, по сути дела, используют в качестве подсадной утки или "болванчика" /при игре в бридж/ и вызывает у меня разве что саркасти­ческую улыбку - благо, выражение моего лица в этот момент ей неизвестно...

- Ты жесток,- выговаривает мне за завтраком Гретхен, строя глазки,- на ее месте я бы предпочла, чтобы со мной по крайней мере играли бы в от­крытую. К чему все эти уловки, если между вами и в самом деле все кончено, как ты утверждаешь? Надеюсь, в тебе достанет порядочности увильнуть от назна­ченного ею свидания? Боже, что я несу! Не смей ходить, слышишь? Ты не должен этого делать.

- Ради нас,- заканчиваю мысленно за нее фразу. Таковы женщины - стоит задеть их за живое, как они моментально раскрываются и не подозревая об эт­ом. Впрочем, мне и в самом деле не улыбается встреча с Мелисандой, но уж по крайней мере вовсе не из-за того, что думает по этому поводу Гретхен. По лю­бому - не стоило ей встревать в наши отнюдь непростые отношения со своими советами, хотя я и сам то хорош - чего ради, спрашивается, мне понадобилось посвящать Гретхен во все эти подробности? Я имею в виду ночной звонок. Опустив глаза, продолжаю исподтишка следить за Гретхен. Что это - морщинка на шее? Нет, разумеется нет, просто след от цепочки крестика, но, тем не менее что-то недоброе успело пустить во мне свои корни - теперь отныне и присно я обречен видеть ее морщинку всякий раз, как буду закрывать глаза и думать о ней /о Гретхен/. - На этот счет не беспокойся, - говорю ей сухо,- к шести у меня назначена встреча с Хозяином, после чего позвоню тебе сразу, как освобо­жусь. Моя Гретхен дует губки. На улице вой полицейской сирены.

**XXIII**

- Итак, Гретхен, глупая гусыня Гретхен. Урожденная фон Штиллвассер /или Шпунциг, а, может, и Шлипке - годы утрачивают былую точность/. Порядочная семья, должное воспитание, затем образование - этим, пожалуй, кончаются /а, может, и не начинались вовсе?/ все ее добродетели. Все, знаете ли, зависит от точки зрения. Люди, зависящие от избранной точки зрения – интересные люди, любит утверждать один мой приятель, и с этим, пожалуй, можно согласиться, все опять-таки зависит от точки зрения. Любит немаркие цвета /верхняя одежда, косметика/ и вкусную здоровую пищу /закармливает меня заме­чательными блинчиками с начинкой за каждым совместным завтраком/. Что еще? Пожалуй, лыжи и кинематограф. Типичная швабка.

**XXIV**

Item, буде. Прождав понапрасну Хозяина с четверть часа, я обратился к кельнеру - пышущему здоровьем и румянцами на щеках улыбчивому малому. Он по­обещал навести справки, поскольку Хозяин, кажется, с четверть часа как вышел с нек­то Морисом, причем вид его, как показалось малому, был удрученный или, по край­ней мере, он был чем-то озабочен. Нет, на словах ничего не передавал, сказал только, что навряд ли вернется сегодня. Требуются уточнения - хозяин мог и оставить записку в Гроссбухе. В помещении сильно накурено, за соседним сто­ликом, раскачиваясь в такт, поют "Guten Abend, Frau Wirtin", громыхая дружно кружками - от Чай­ковского нет и духу - только разбитый в углу патефон. Кельнер возвращается, сияя на весь зал натренированной улыбкой. Нет, ничего личного для Вас. Не мо­жет того быть - Хозяин по понедельникам не имеет привычки уславливаться заранее, разве что его новая подружка бывает занята /эту информацию он сообщает мне громким шепотом, так что песня за соседним столиком смолкает и люди вытяги­вают свои уши/, но сегодня, насколько ему известно, она как раз-таки свобод­на, видимо это и сообщил ему некто Морис.

Мне решительным образом нечего делать в погребке. Я расплачиваюсь за вино и выхожу на улицу. Моросит дождь, сзади меня кто-то хихикает, и песня возобновляется с новой силой, причем в общем хоре натренированных глоток четко прослушивается хорошо поставленный голос кельнера - хозяин набирает персонал только среди выпускников

консерватории. Guten Abend, Frau Wirtin!

До звонка Гретхен необходимо выдержать паузу - пока нет и шести, а ранний звонок вызовет у нее подозрения, что меня у Хозяина не было /то, что Хозяина может не оказаться на месте, ей и в голову не придет, а если сказать ей об этом напрямик, она может вообще навообразить черт те знает чего, сочтя мои слова за очередную уловку/ и тогда возникнет резонный вопрос - а где меня черти носят? Ответ, надеюсь, ясен - для нее, разумеется. Как назло, испортились часы, а на улице ни одного прохожего. Постепенно темнеет, и сумерки медленно расползаются между размытыми контурами домов. Вдоба­вок ко всему я забыл в погребке очки - минус полторы диоптрии в гонконгской оправе, купленные у контрабандиста по дешевке. Прямо под ногами разлетается вдребезги запущенная кем-то с верхних этажей пустая бутылка. Запахло подсол­нечным маслом - интересно, куда меня занесло?

**XXV**

Кажется, прошло немало времени, но вот, наконец, первый прохожий. Набрав­шись смелости, спрашиваю у него время. Бурчит еле слышно под нос явно недо­вольный тем, что его потревожили, отвлекли от ужас до чего серьезных раздумий. А, может, у него просто напросто ворчливый характер - улица полна всяких типов, создается даже впечатление, что она и плодит их в столь разнообразном количестве, но это неверно в принципе, хотя свой отпечаток улица, разумеется, накладывает. Поговаривают даже, что крестьяне отличаются от наших /я имею в виду горожан/ даже в голом виде. Так или иначе, но ответ получен - без пяти минут шесть - и он поспешно удаляется прочь, словно боясь нарваться на новый вопрос. Без пяти минут шесть - ужасно медленное время, чего не скажешь по наступившим сумеркам. Видимо весь эффект - от низко повисших туч и морося­щего занудливого дождя. В витрине ювелирной лавки уже зажгли свет, не дотерпев буквально пару минут до льготного времени и бледный отсвет убогой витрины ложится на мокрый, чуть подрагивающий тротуар, сопровождаемый бледным подо­бием улыбки существа, по всей вероятности, женского пола - проклятая близору­кость! - прильнувшего вплотную к толстому стеклу. Без пяти минут шесть...

XXVI

Стоп! Так ли все было на самом деле? Ведь то, о чем я сейчас говорю, не более чем сомнительные воспоминания старика, сутками не расстающегося со своей любимой кушеткой, за исключением понятных случаев - сил на это пока что хватает. Кроме того, всегда под рукой заботливая невестка, чьи черты невольно напоминают мне то миловидное румяное лицо Гретхен, то бледное и озорное Мелисанды, сам же напоминаю себе временами Мориса, особенно когда – в который раз за день! - настороженно вглядываюсь в огромное зеркало в прихожей, разглаживая еле дрожащей рукой пожелтевшие клочья волос на голове. Кто поручится ныне за их достоверность? Хозяин? Но он недавно как скончался. К сожалению, я не смог поприсутствовать на похоронах, поскольку сынок и любезная невестка решили утаить от меня сей прискорбный факт. Напрасно! На сей счет всенепременно сыщется какой-либо словоохотливый сосед. Да если бы он и был жив, многому ли из того, что он мог бы припомнить, можно было бы довериться? Старики, стоящие одной ногой в могиле, склонны путать действительность со снами, сужу по себе. Что еще? Кое-что, конечно, могла бы подтвердить сама Мелисанда, но, с одной стороны, ей известна лишь половина излагаемых мной фактов, а с другой - след ее давно утерян, возможно, ее и нет в живых. Гусыня же Гретхен, как мне помнится, и тогда еще не отличалась особой памятью и сообразительностью, ныне же это и вовсе выжившая из ума старушенция, которую кормят с ложки, и которая давно уже пребывает в настолько полном согласии с окружающими ее обстоятельствами, что отказывается узнавать даже собственных внучат и пугается своего же отображения в зеркале. Остаются еще вещественные доказательства - сохранившиеся записки, письма, подаренные на память вещи и даже билет на тот злополучный киносеанс - но что в них толку, не предъявлю же я их на графологическую экспертизу! А если и предъявлю, заслуживают ли ее результаты серьезного доверия? Ведь даже тот непреложный, казалось бы, факт, что индивидуальность человека однозначно зафиксирована в его почерке - не что иное, как аксиома, иными словами, ценность, имеющая хождение лишь в определенном, пусть и достаточно широком, кругу категорий и понятий /другими словами, непреложность ее носит весьма относительный характер/, что мне, старику на пороге жизни и смерти, видно по-особому отчетливо. Итак, вывод: все, что я могу утверждать абсолютно - это то, что образы Мелисанды и Гретхен /равно как и остальные, включая мой собственный/ несомненно наличествуют в моем сознании, но насколько они соответствуют пережитой действительности и даже имели ли они в ней место /то есть не являются неосознанным вымыслом/ - вопрос неразрешимый ныне даже, пожалуй, для меня самого, пишущего эти строки. Одному Богу вестимо…

**XXVII**

Однако вернемся к событиям того далекого вечера, отделенного от ны­нешних времен почти что на полстолетия. Помнится, как узнав время, я вскочил на подножку проезжающего мимо трамвая - на мое счастье, вагон был почти пуст и мне не пришлось трястись стоя всю дорогу. Впрочем, что значит всю дорогу? Ведь у меня не было никакой определенной цели - я даже не поинтересовался, идет ли трамвай в требуемом - каком? – направлении. Таким образом, сама доро­га могла завершиться для меня на любой из остановок, включая следующую. А с другой стороны у меня ровным счетом не было никаких причин прерывать поез­дку по крайней мере в ближайшие полчаса, когда, наконец, можно будет позво­нить Гретхен, не опасаясь за последствия. Надо лишь проследить за тем, чтобы не отъехать от центра на слишком уж большое расстояние. Сонливость, вызван­ная, очевидно, пасмурной погодой и покачиванием вагончика нестерпимо одолева­ла меня, но стоило лишь слегка прикрыть глаза, как перед ними появлялась зна­комая уже шея с глубокой бороздкой, одинокой и оттого, наверное, еще более бе­зобразной, морщинки и, не проехав и трех остановок, я почувствовал неодолимое желание сойти с трамвая.

К моему удивлению в этот же самый момент трамвай остановился, хотя до остановки было еще порядком с трехсот метров. Какой -то молоковоз беспомощно застрял на переезде путей и, поскольку, судя по доносящимся до меня обрывкам перебранки, причина поломки молоковоза, а, следовательно, и время вынужденной остановки не были до конца ясны, вагоновожатый предупредительно распахнул двери. Впрочем, никто, кроме меня, не поспешил воспользоваться предоставленной возможностью.

- Сходите, сходите,- сказал водитель,- поскольку остановка вынужденная, никакой оплаты за проезд с Вас требовать компания не вправе. Наоборот, Вы мо­жете затребовать у них компенсацию за причиненные неудобства.

Однако стоило мне лишь сойти с подножки, как молоковоз неожиданно затарахтел и тро­нулся с места, а следом за ним и трамвай, и я на мгновение оказался зажатым между ними, поскольку тронувшись, молоковоз сразу же круто завернул в сторону, противоположную движению трамвая. Причем действительно только на мгновение - оба моментально разъехались каждый в свою сторону. Но главное даже не в этом - из окна молоковоза /или все это мне показалось? / высунулась знакомая взъе­рошенная женская головка и, махнув свернутой в трубку газетой, прокричала: "Прощай, мой Густав! Спасибо, что не забыл все- таки''.

Я оглянулся по сторонам. Это было то самое место, о котором говорила  
Мелисанда - пустынный бульвар у вокзала, место одной из наших первых встреч.  
Тучи потихоньку стали рассеиваться и на бульваре появились первые робкие  
прохожие. Было чуть более шести - до сих пор не могу объяснить себе, каким образом в этот момент я вдруг обнаружил на своем месте очки. Возможно, чисто машинально я нашел их, когда, задумавшись, ехал в трамвае, но этот в общем-то заурядный факт - такое случалось со мной и прежде, и не раз– буквально оглушил меня.  
 Пора былa звонить Гретхен.

**XXVIII**

Пожалуй, и все. Несколько раз до меня доходили разные слухи. Говорили всякое. И что она уехала в столицу и там у нее была какая-то неприглядная история со студентом философского факультета, из-за чего ей пришлось вернуть­ся обратно, и что она устроилась преподавательницей в один из местных коллед­жей и у администрации были крупные неприятности из-за ее демарша на каком-то форуме нудистов, и еще всякую мелочь в том же духе. Как-то и я видел ее, правда мельком, на похоронах какого-то мало знакомого мне доцента, кажется, одного с ней колледжа - в свое время я консультировался с ним по вопросу о месте и значении понятия "элохим" в семитско -мессопотамских ранних культу­рах и культах - к чему мне все это было - ума не приложу. Впрочем, в те време­на я постоянно ходил под хмельком. Она была в сером, вышедшим из моды паль­то и выглядела заметно погрузневшей. Не знаю почему, но я не решился тогда подойти и заговорить с ней - возможно, торопился на очередную пьянку - вре­мена были такие, что можно было себе позволить отложить любую вещь на потом. Пару раз я сталкивался в каких-то невообразимых пивнушках с Морисом. Старик всякий раз заплетающимся языком приглашал меня в гости и жаловался, что пос­ле столицы девчонка совсем от рук отбилась и ни во что его не ставит. Показы­вал в подтверждение синяки на руках - все, мол, ее проделки. Разумеется, я ему не перечил, хотя не особенно и верил. Впрочем, оба раза он сам платил за пиво и не соглашался ни в какую принять от меня ответную любезность. И еще один раз я встретился с ней лицом к лицу, когда поднимался с одним при­ятелем, также хорошо ее знавшим, наружу от Хозяина. Она не узнала нас, хотя мы и поздоровались с ней в упор. У меня создалось впечатление, что ей в эту ми­нуту было особенно плохо и, если бы не приятель, бросился бы вслед за ней. Позднее он сказал мне то же самое, однако нам обоим там делать было нечего. Так оно и кончилось - больше мне не доводилось с ней сталкиваться или слы­шать о ней что-либо. Не было ее и на похоронах Мориса - об этом мне расска­зал тот самый приятель. Одним словом, она ушла.

**XXIX**

Чуть не забыл. К юбилею почтальон принес мне письмо, и я искренне обрадовался, узнав на конверте знакомый почерк. Однако радость моя улеглась, когда я взглянул на штемпель - письмо было отправлено более четверти века назад, в нашу золотую с ней пору. На конверте была приписка - вручить адресату в день его пятидесятилетия и указана дата. Внизу - пометка "принято на хранение. Начальник смены Шлиман." Я вскрыл конверт. В него был вложен сложенный вчет­веро листок с машинописным текстом, что-то навроде притчи. Называлась она "Угрюмый мим".

**XXX**

**УГРЮМЫЙ МИМ** (Древняя притча)

В забвеньи жил в стране безвестной угрюмый мим. Под шум печальный кленов, сам дитя печали, туда явился он, закованный в холодную броню. С печалью молча поливал пионы в забытом парке. Глядел печально он на солнце, не видя туч весёлых бег. Печальной грустию плененный, в коротком сне лишь находил покой. В печали живший по мечте туманной с печальным вздохом умер он. Цветы, взращенные печалью, увяли вскоре. Вместо них там густо расцвели ромашки. На этом месте, хоровод ведя, теперь смеялись громко шлюхи.

**XXXI**

Я узнал. Это была сочиненная мной же притча и в шутку подаренная ей кажется, вместе с тортом ко дню рожденья. Внизу имелась приписка от руки /её почерком/:

"Не было того, что было, а было то, чего не было".

Не знаю отчего, но на мои глаза на мгновение навернулись слезы и в горле застрял неприятный ком.